

АРХИВ

От публикатора / Письма Г.Н. Владимова и стихи его матери Марии Оскаровны Зейфман находятся в Германии, в архиве Бременского университета, Forschungstelle Osteuropa, FSO 01–130. Я очень благодарна работникам архива Габриэлю Суперфину и Марии Классен за их бесценную помощь в моём исследовании. Слова и фразы, выделенные во вступлении курсивом и кавычками — точные слова Г.Н. Владимова, записанные мною во время его рассказов. (Светлана Шнитман-МакМиллин)

Георгий Владимов

Письма матери в ГУЛАГ (1953–1954)

В ночь с 15 на 16 декабря 1952 года преподавательница русского языка и литературы Ленинградского суворовского училища Мария Оскаровна Зейфман, мать будущего писателя Георгия Владимова, а в те времена — студента юридического факультета ЛГУ Жоры Волосевича, была арестована. Первый суд, начавшийся весной 1953 года, заседание которого с вынесением приговора прошло в октябре, и второй суд с нанятым сыном адвокатом, состоявшийся в марте 1954 года, осудили её на десять лет лагерей по статье 58, пункт 10, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР — «антисоветская пропаганда и агитация». По словам Владимова, против неё выдвигалось три основных обвинения. Во-первых, убеждённая коммунистка Мария Оскаровна считала, что «культ личности»: «...насаждался против воли Сталина и являлся отклонением от партийной линии и норм». После смерти Сталина и в быстро меняющейся политической атмосфере страны это обвинение потеряло всякий смысл. Во-вторых, Мария Оскаровна категорически не верила в «дело врачей», считая его антисемитской кампанией, т.е. «искажала национальную политику партии». К моменту её осуждения «дело врачей» было прекращено, и невиновность обвинённых признана официально. Но судья пояснил ей, что: «...врачей просто пожалели, а они, конечно, были виноваты», — поэтому обвинение остаётся в силе. И, наконец, в-третьих, Мария Оскаровна была уверена, что Сталин и партия в антисемитском шабаше «кампании против космополитизма» виновны быть не могли, но были введены в заблуждение главой МВД всемогущим Л.П. Берия. Мария Оскаровна не скрывала своего отношения к «этому негодяю», что означало: «...злостную клевету»

на руководящих членов партии и правительства». Тот факт, что Берия ко времени приговора был расстрелян, как «враг народа, тайный агент царской охраны и английский шпион», судьей не поколебал.

В день ареста её единственному сыну Георгию, или Жоре, как все его звали, шёл двадцать первый год. Он жил с матерью в Петергофе в ведомственной комнате Ленинградского суворовского училища, которое в 1948 году окончил с медалью. Мать по званию была капитаном МВД, студент-отличник Волосевич получал повышенную стипендию, и материальное положение маленькой семьи было вполне благополучным. Жора наслаждался свободой студенческой жизни, жадно читал, пристрастился к кино и сделался заядлым театралом. Он был трудным подростком, своевольным, упрямым, смелым. Незаурядность его личности давала себя знать очень рано, доставляя матери немало хлопот и волнений. Но в тот период жизнь стабилизировалась, они сошлись и наслаждались семейной близостью, домом и общими литературными интересами. Мария Оскаровна охотно принимала в их комнатке и вкусно кормила университетских друзей сына, приезжавших по воскресеньям на лыжную прогулку.

С арестом матери беззаботная молодость окончилась навсегда. С той минуты, когда Мария Оскаровна в наручниках и с заломанными за спину руками была грубо впихнута в «Победу» МВД, Владимов принял на себя ответственность за её судьбу. И до конца её жизни заботился о ней, делаясь всем и отдавая последнее.

Через несколько дней после ареста матери Жору Волосевича из «ведомственной комнаты» выставили на холодную декабрьскую улицу. Следующие десять лет он был бомжом, более двадцати раз переселявшимся из «угла» в «угол» и часто жившим впроголодь. Мария Оскаровна провела много месяцев в одиночной камере в Большом доме на Литейном. После первого приговора её отправили в лагерь под Ленинградом в Андропшино. Там полагалось клеить какие-то коробочки, но норма была для неё слишком высокой, и её лишали части пайка. Из Андропшино вскоре Марию Оскаровну перевели на Балахинский химический комбинат, находившийся в Молотовской области. Работа была изнуряющей, воздух, пропитанный сероводородом и какими-то парами, тяжело переносился, и она начала изнемогать. Но тут пришло спасение. Она с детства играла на пианино, а в каждом советском лагере была обязательная художественная самодеятельность. «Кум по культурной части», узнав, что она к тому же «и стихи сочинять умеет», забрал её к себе, избавив от работы на производстве. Кроме музыки, Мария Оскаровна занималась театром и скетчами. Отбою от зэков и зэчек, желающих принять участие в её представлениях, не было. Это была

единственная возможность встретиться и совокупиться с противоположным полом за кулисами. «Девки», молодые уголовницы, «шли косяками», надеясь забеременеть и стать «мамочками», избавившись от физической работы. Мужчины с энтузиазмом отзывались на их горячее пожелание. *«Мать смотрела на всё это сквозь пальцы, отвечая за самодеятельность, а не за моральный облик её участников».*

Но в 1954 году в лагере произошёл несчастный случай: в бараке, где жила Мария Оскаровна, обвалился потолок. Ей сильно ушибло голову, и она начала слепнуть. Левая рука тоже была повреждена, и играть на пианино она больше не могла. Её кое-как подлечили в больнице, а потом кассировали по трудовой непригодности в январе 1955 года, хотя на свободу она вышла только в самом конце февраля. Первые свободные годы её жизнь была очень трудной, безденежной и бездомной, но в 1957 году, благодаря К.М. Симонову, она была реабилитирована и получила приличную пенсию и комнату. Позднее Владимов купил матери однокомнатную квартиру в Пушкине.

Сохранились письма Владимова матери в ГУЛАГ, хотя, по всей вероятности, далеко не все. Среди них нет писем в тюрьму на Литейном, где она провела в одиночке более девяти месяцев. Возможно, что в тюрьму сын не писал, рассчитывая на свидания. Другая вероятность, что письма были изъяты органами госбезопасности или утеряны при перевозе Марии Оскаровны в один из лагерей. В уцелевших письмах некоторые из страничек так слежались, что отдельные строчки прочесть невозможно. Некоторые были склеены из распавшихся частей, что тоже затрудняет чтение. В тех случаях, когда разобраться очень сложно, но по читаемым буквам или отдельным словам можно догадаться, текст даётся в квадратных скобках. Иногда отсутствуют точные даты писем, но, следуя смыслу и содержанию, можно предположить приблизительное время написания. Отдельные слова или часть строк чем-то забелены, вероятно, лагерной цензурой. Ряд имён — Чарли, Винченце, нехромой Байрон — явно закодирован, и не всегда можно определить принадлежность других, особенно если даются лишь инициалы.

В данной публикации — сохранившиеся письма Владимова и стихи, которые Мария Оскаровна писала в тюрьме и которые восхищали её сына и литературно, и как свидетельство её духовной и душевной силы.

Георгий Владимов очень подробно писал матери о своей жизни, состоянии и начале литературного пути. Письма важны и интересны не только как свидетельство его неординарной, сложной личности и чрезвычайно трудной молодости, но и как картина времени и портрет первого поколения, входившего во взрослую творческую жизнь в постсталинский период.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Здравствуй, милая мамочка!

В это воскресенье я приехал к тебе в Антропшино, но у вас был карантин, и пришлось вернуться восвояси. Почему ты меня не предупредила письмом? Впрочем, знаю твой лимит и поэтому особенно не обижаюсь. Думаю, что смогу к тебе приехать во вторник 29-го числа. Напиши, пожалуйста, на Ленинград, когда кончится карантин, и что тебе привезти. Итак, прошел год твоего заключения, а надежд пока маловато.

Пишет ли тебе Ида¹ ? Если не пишет, то сообщи мне, я с ней поговорю по телефону. Будь добра, не проси у нее денег, я тебе сам пришлю. Надеюсь, что тех, что тебе передал, тебе хватит до 3–4 января, а потом я получу. Сейчас надеюсь провести одну операцию с деньгами, и, если что-нибудь выиграю, будут деньги для московской поездки к К.Е² .

Впрочем, напиши, я как-нибудь выкручусь и пришлю еще сотню.

Долго я тебе не писал и прошу за это прощения — усиленно работаю над заказом из Москвы. Для этого пришлось подкрепиться — читаю Белинского и впервые оцениваю могущество этого великого критика. Оказывается, критиковать гораздо труднее, чем самому делать. Видишь несовершенное, а помочь ничем не можешь (кроме, конечно, советов на исправление и на будущее) — ибо должен быть беспристрастен.

Но сила Белинского как раз в том, что он умел сочетать беспристрастность с горячей любовью к критикуемому объекту или — горячей неприязнью.

И, вообще, мне его метод нравится — думаю его применять: сначала давать расширенный фон и определить свои эстетические воззрения, наметив позиции, а потом (примерно в третьей части статьи) — переходить к самому произведению. У нас же — начинают с места в карьер, и в результате — никакой цельности. Это хорошо, это — плохо, а в общем: «Несмотря на перечисленные недостатки и т.д.». Следует шаблонная формула о «ценном вкладе в золотой фонд».

Так-то. Ну, бывай здорова, жди моего приезда во вторник. Крепко целую и жду письма.

Твой Жора

22.12.53

Напиши, кто ещё были великие критики?»

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Здравствуй, мамочка!

Только что вернулся из Москвы. Побывал в театре, на ВСХ выставке (зрелище грандиознейшее!) и в своей редакции, где меня очень тепло приняли, наговорив уйму всяческих комплиментов, и напутствовали в дальнюю дорогу множеством необходимых истин. Принял с благодарностью. Особо впечатлительна была встреча с Н.П.³, который, правда, меня зверски отругал, но признал талант «искромётный и свежий» и обещал вывести эту «молодую сволочь», то бишь меня, в люди. Статья моя (первая) пойти не может — по некоторым не зависящим от редакции обстоятельствам, в связи с последними событиями в литературе и критике, — но деньги мне перешлют в ближайшее время, чтобы я работал и ни в чём не нуждался. Тут же на месте договорились о новой теме и заставили неделю посидеть в Москве, чтобы сдать статью в съездовский номер. Вчера вечером прилетел на самолете: деньги были казённые, и было всё равно — на чём ехать.

Помимо прочего, заключено трудовое соглашение в том, что я обязуюсь не позднее 20 дней представить статью на 3 печатных листа о «Годах странствий» Алексея Арбузова. Статья у меня почти готова и требует некоторой внешней отделки по сделанным на полях замечаниям. Как видишь, идут навстречу.

Деньги я на той неделе получу и, разумеется, тебе вышлю. Тратить мне особенно не на что, хочу только купить некоторые, до зарезу необходимые книги, остального хватит до ноября, а дальше пойдут статьи из месяца в месяц. Неожиданно я получил некоторую свободу и могу, как писали классики, «отдаться любимой литературной работе». Я, впрочем, предпочитаю другие термины, поскольку отдаются только женщины и города на милость победителям, — здесь же надо брать быка за рога.

Несколько похудел. Но чувствую в себе прилив необычайной энергии. Всё-таки я чертовски молод, и это моя самая прочная и многообещающая база. К тому же — немалый жизненный опыт и развитой ум. Всё остальное приложится. И, разумеется, очень недалёк тот день, когда звезда моего успеха засверкает на нашем потускневшем небосклоне. Прошу в это верить.

Пока работаю дома, но в самом ближайшем будущем Н.П. предлагает взять меня к себе или в «Литературную газету», поскольку предполагает — по стилю моих статей — немалый талант публицистический. Вообще, дядька очень добродушный и деловой и намерен принять в моей судьбе самое деятельное участие. «Слушайте, — говорит, — меня во всем, и я Вас выведу в люди». Приходится слушаться.

Теперь о свидании. Хотелось бы, конечно, увидаться, но у меня пока недостаточно денег, чтобы сделать передачу и переслать наличными. Я, впрочем, приду в ближайшее воскресенье, так что похлопочи о свидании. Только постарайся меня предупредить, потому что это очень мучительная штука: выстоять в очереди 5 часов и получить шиш с мармеладом.

Как твоё здоровье и прогнозы на дела? Есть ли какие-нибудь надежды? Я думаю, что в скором времени смогу это дело двинуть более бодрыми темпами.

Желаю всего наилучшего, что только может быть в твоей жизни, крепко жму руку и целую, —

Твой непутёвый и бесталаный сын Жора
1954⁴ »

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

«Здравствуй, дорогая мамочка!

Прошу простить за долгое молчание, поскольку я себя загрузил всякими делами и поездками, и просто не было времени очнуться от той свободы, которую я, наконец, получил. Был опять у Ирины⁵, пробыл там четыре дня. Встретили меня прекрасно, убедительно просят ехать в Харьков. Приехала тетя Вера с Вовкой, — в общем, было весело. Вовка здорово вытянулся, мне уже по плечо, занимается фотографией и даже меня провоцирует заняться этим делом. Тетя Вера постарела, но, в общем, все они характерами мало изменились. Это особенно, вероятно, заметно потому, что здорово изменились мы с тобой. Почему ты мне ничего не пишешь — о здоровье, о видах на будущее? Пишет ли тебе Ида? Может быть, мне взяться ей написать? Или лучше дождаться, когда они сюда приедут, и тогда Ида сможет прийти к тебе. Сегодня приехал из Новосибирска адвокат Белявский⁶ с супругой, но у меня они еще не были, так что не знаю, как они выглядят и насколько хорошо будет мне с ними третьим лишним. Жениться мне, что ли?

Сейчас я снова много пишу и много читаю, закончил чтение всего Горького, Джека Лондона и Шекспира. Теперь возьмусь за литературу французскую, — Бальзака, Флобера и Стендаля. Этих я — ни в зуб ногой. Недавно читал «Вор» и «Соть» Л. Леонова — все хорошие, талантливые вещи и особенно язык.

Договорился со своими ребятами написать им большую статеищу о пьесе Арбузова «Годы странствий» — очень [интересная], хорошая вещь с небольшими педагогическими завихрениями, которые я, поклонник Д. Писарева, сумею исправить. Белинский меня ждет, и я

просто не знаю, когда же я к нему вырвусь. Все хочется, и все нужно прочесть, ибо я чувствую, что мое образование ни к чорту не годно. А мои конкуренты, не обладающие ни критическим даром, ни смелостью мысли, дадут мне 100 очков вперед лишь потому, что вовремя прочитали очень много полезных книжонок и вовремя умеют достать их с полки. Я, конечно, не унываю, но все ж-таки трудненько.

Помимо прочего, задумал я купить самоучители по английскому, французскому и испанскому языкам (наиболее распространенные в мире) и начать учить понемногу, по часу-два в день, и так до полного совершенства. Но все это можно будет сделать, когда все более-менее утрясется и станет определенным и «оседлым».

Ты напиши мне, нужны ли тебе деньги, — я немного имею, но ведь надо мне до августа, даже до сентября растянуть. В общем, я не пожалею и пришлю. На базаре уже кое-какая мелюзга появилась, можно достать, и я надеюсь к 13-му числу что-нибудь тебе передать. Увидимся мы, вероятно, только осенью, так что я тебя заочно поздравляю с твоим днем рождения и желаю всего, всего наилучшего.

Ты на меня не сердись, потому что жизнь мне досталась противная и нервная, — нужно иметь мой оптимизм, чтобы еще барахтаться и находить вдохновение.

Думаю, что в моем положении не творил ни один классик, но и это соображение доставляет мне удовольствие. Итак, как ты видишь, мой оптимизм имеет бездоннейшую черпальницу, и эта чаша, хоть и не золотая, да наша.

На этом спешу закончить, ибо есть дела.

Желаю всего наилучшего, — здоровья, бодрости и отсутствия всяких подозрений.

Крепко жму руку

Жора

8.7.54.

Ленинград. 124⁷ »

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

«Здравствуй, мама!

Получил твое письмо и очень удивлен переменою тона. Впрочем, приливы и отливы — вещь вполне закономерная под луной. Одно непонятно. Зачем же ты все еще пишешь невнимательному эгоисту?

Без долгих рассуждений замечу, что ехать мне никуда уже не имеет смысла, ибо у меня на весь август осталось триста рублей. Если из этих денег 200 отдать хозяйке, то как раз остается сотня,

чтобы переслать тебе. Как видишь, живется эгоистам недурненько, и всегда есть возможность свести концы с концами.

Вполне согласен с твоим утверждением, что тебе требуется усиленное питание, и обещаю в самые ближайшие дни деньги переслать. Есть возможность неплохо заработать на переборке овощей. Только прошу подождать терпеливо и дать мне возможность не протянуть копыта, — а это вполне может случиться, ежели учесть, что ем я 1–2 раза в сутки и работаю не совсем по-отпускному.

Должен сознаться, что при всей моей хваленой деловитости я еще не достиг того апогея, при котором удалось бы объединить и претворить в действительность три твоих лозунга: «вещи не продавай!», «питайся хорошенько!» и «обеспечь мне усиленное питание!».

Кто в этом виноват, не знаю: я или ты, которая до сих пор не понимает, какой тяжелый урон нанесло всему нашему семейству твое осуждение.

Я думаю, что обмен дурными письмами недолго будет продолжаться, ибо я все-таки намерен заговорить языком не дитяти, но мужа. В частности, хочу заявить теперь, что следующее твое «упречное» письмо решительно останется без ответа, и, в конце концов, я превращусь в некий сердобольный автомат, который в определенное число каждого месяца будет пересылать тебе определенные суммы.

Я думаю, что и тебе не хочется рвать нити душевного согласия, которое у нас понемногу установилось в последние годы, и потому советую тебе — перед тем, как предпринимать очередную пилку моих нервов — хорошенько подумать и вспомнить, что сия экзекуция предназначается человеку, меньше всего виноватому в том, что случилось с нами, и не менее твоего заинтересованному, чтобы все окончилось к лучшему. Этому человеку очень трудно... Вот и все, что я могу сказать еще. Думаю, что в скором времени это положение изменится, и надеюсь, что ты порадуешься этому вместе со мною.

Пока же могу сообщить, что я ничего не узнал нового по интересующему тебя и меня вопросу, кроме того, что тебе, вероятно, известно по газетам (я имею в виду расстрел Рюмина⁸). Чарли уехал в Сочи, а нехромающий Байрон⁹ и его дражайшая половина слышат только звон, да не знают, где он.

Прийти 1 августа я не смогу, ибо это время будет использовано не без выгоды для тебя. Приду 8-го.

Целую

Жора

P.S. Ты могла бы все-таки не играть в «превозмогая боль», ибо, во-первых, публику меньше всего интересует, что актриса в день премьеры похоронила мужа, а во-вторых, такие эксперименты плохо

кончаются. Зачем это тебе нужно? Я не понимаю «умение жить», как умение устраиваться, но давно отрешился от наивных сальто мортале дешевого энтузиазма. Коли ты потребуешь чего-то от меня, так и я вправе требовать, чтобы ты соблюдала режим и берегла здоровье. Надеюсь, оно и тебе, и мне еще пригодится.

Жора.

28.7.54 г. Ленинград»

ПИСЬМО ПЯТОЕ

«Здравствуй¹⁰

Получил 1 мая твою открыточку и был обрадован, что у тебя хорошее настроение и ты не ругаешься, т.е. не поешь мне псалмы о «забвении» своих сыновних обязанностей.

1 и 2 мая был в компании, немного рассеялся и выпил за твоё освобождение. Мечтаю об этом не меньше, чем ты. Но, в отличие от тебя, великолепно знаю, что дело это непростое и небыстрое. Как видишь, сессия ничего в этом отношении не затронула. Так что повозиться еще придется, и не один год. Строить планы на ближайшие свои планы.

Однако желаю тебе бодрости и всего, что нужно, чтобы сохранить себя здоровой и бодрой для «мирной» жизни.

Ты что-то больно много цитируешь поэтов, — это не к добру. Почитай лучше прозу — прозаики честнее и больше дают для разумного понимания жизни. А увлекаться красивыми и пустопорожними созвучиями не наше дело! Для нас это роскошь непозволительная. Кто бы ни был тот поэт, которого ты мне свалила на бедную голову, — позволю себе заметить, как критик, что написал он совершенную глупость, [строка неразборчива]

.....[пуста]

Была золотая чаша,
Что в ней напиток был мечта
И что она не наша¹¹ .

Если чаша «золотая» — то она хороша и без напитка, и плохо только то, что она «не наша». А ежели она фальшивая, да и напиток в ней «мечта», — так очень хорошо, что она и на самом деле «не наша». Стих не выдерживает никакой критики и выражает только одно: «плакало наше золотишко!».

Вот видишь, как вредно повторять поэтические истины, да еще строить на них какую-то жизненную философию. Ты была много бодрее несколько месяцев назад, и это меня тогда радовало. А теперь [почему-то впадаешь в уныние, когда деятельный сын] испытывает временный дефицит в деньгах и времени и не может вовремя выслать тебе пенензи¹² и начеркать пару строк о своем железном здоровье?

Относительно штанги и гирь — не извольте сумлеваться: я старый спортсмен и сумею предупредить перетренировку. И вообще — поменьше жизненных советов — 1) даются они человеком, знающим жизнь едва ли лучше моего; 2) даются заочно, и применять их в моей практике нет никакой возможности; 3) я уже дожил до тех лет, могу давать советы и сам, тем более, что делать это очень легко, — гораздо легче, чем претворять в действительность.

Во всех твоих письмах проглядывает прежнее, обидное для меня недоверие к моему зрелому разуму, к моей способности жить и работать в труднейшей обстановке, к моему отношению к тебе. Разубеждать тебя считаю излишним, поскольку считаю, что в тебе говорят «педагогическая склонность» и воспоминание о «длинноногом папочке». Однако хочу предупредить, что все твои наставления и сомнения считаю попросту смешными и выпускаю в другое ухо без задержки. Все больше и больше жалею, что у меня в свое время не хватило твердости преодолеть твои [материнские страхи и стенания], а то я бы, вероятно, не поступил на факультет, который не дает ничего, кроме блестящего и общего образования, заменяемого или достигаемого многими разумными людьми самостоятельным чтением, и не вернулся бы обратно, после не довершенной попытки поступить во ВГИК. Вообще, надо признаться, что твой ум-разум едва ли когда-нибудь спасал меня от того состояния, которое тебе, вероятно, хочется и здесь выразить поэтически: «Я заплатил безумству дань»¹³. Весьма сожалею, что я в свое время этой дани не заплатил и хожу до сих пор в неоплатных должниках.

Вот все, что я хотел тебе сказать по этому поводу. В остальном предоставь мне, пожалуйста, действовать так, как я найду нужным: так будет лучше и для меня, и для тебя, и «для промфинплана».

Теперь о делах: деньги я на днях получу и немедленно тебе вышлю. Чутьку потерпи: тебя ведь, все-таки, в больнице кормят, а я питаюсь бог знает где, и черт знает как. Вышлю.

Сейчас срочно заканчиваю одну работенку. Думаю, что моя работа в ближайшее время перейдет из области мечты и чаша будет наша. А напиток в нее нальем мы тот (хоть и не из провинции Шампань), который продается в магазинах «Росглавино».

Я тебе писал о послании Н. Ф. Погодина, — есть уверенность, что пришвартуюсь к ним и буду давать стопроцентную выработку.

На этом кончаю. Очень спешу. Прошу не обижаться на некоторые резкости. Просто не хватило времени, чтобы их «округлить». Да это теперь и не в моих привычках, ибо я становлюсь груб, как заждавшийся любовник.

Довольно сентиментов. Нас ждут великие дела. В этой уверенности и пребывает ныне твой деловой сын Жора.

1954, Ленинград»

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

«Здравствуй, мама!¹⁴

Сегодня получил твое письмо. Оно несколько запоздало: я уже сообщил Иде, что подыскал для них пристанище, и теперь она, конечно, придет. Почему ты против ее поездки в Л-д? Ведь она едет не только с целью свидания, у нее дела в Институте. И потом, я думаю, что свидания все-таки можно добиться. Я слышал, что приедем (из-за сотни километров) идут навстречу. Мы тут с Идой что-нибудь придумаем.

Относительно овощей и фруктов — прошу подождать до 29-го. Как будто намечаются деньги. Те, что я получил, уже подходят к концу: надо было расплатиться с долгами и т.д. И теперь ожидаю выхода в свет журнала. Выходит он как раз в день открытия Второго съезда писателей. Т.о., моя речь на съезде тоже состоится, хотя и в письменном виде. Я полагаю, что это ничуть не хуже, а в материальном отношении даже удобней. Это пока, собственно, и есть те особые изменения, которых ты боишься. Девчонку, «тебя не спросив», надо сперва найти, а за последние месяцы мне ничего подходящего на глаза не попадалось.

Сейчас много работаю, читаю, пишу пьесу. Надеюсь все-таки не сложить оружие в эти «решающие месяцы» и не сдать завоеванных позиций. Как только получу деньги, начну планомерное и окончательное лечение. И пока не вылечусь до конца, не остановлюсь.

Кроме прочего, хочу одеться поприличней и «наконец увидеть свет». Вот, в таком разрезе.

Ты просишь сохранить твои книги — часть из них я продал, часть обменял. Если ты имеешь в виду художественное, то я собираю всех писателей полными собраниями. Купил по несколько томов Шекспира, Гейне, Макаренко, Маркса и Энгельса. Закладываю первые кирпичи моей библиотеки, — материальной основы культурного фонда. Если ты что-то имеешь против, — жаловаться в письменном виде.

Ну, пока. Желаю всего хорошего, здоровья и долгожданных известий. Что же они теперь лечат, если остались вещи, как ты пишешь, «необратимые»?

Целую, Жора. 21.X.54.»

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ¹⁵

«Привет из далекого Ленинграда!

Чорт знает, как расшвыряла нас судьба, но не думаю, чтобы это было к худшему. Ты не теряешь бодрость духа, я это чувствую по тону твоих писем, и это, конечно, здорово. Даже я, старый и безнадежный оптимист, проникаюсь благоговенным восхищением.

Не только нет худа без добра, но нет и черных дней без светлых промежутков. Я думаю, что ты порадуешься вместе со мною, если я сообщу тебе, что сегодня имел честь читать собственную статью, напечатанную в солидном журнале. Постарайся достать «Театр» номер 11 (за ноябрь) и прочти «Женские образы в пьесах Анатолия Сафронова». Не сказать, чтобы очень хороша была статья, видна торопливость и легкомыслие, да и редакция здорово ее причесала, выбросив наиболее ударные места, — но как первый опус, прорвавшийся на линию огня, это для меня особенно важно. Теперь я полный и законный литератор, подвизавшийся на ниве журнальной во имя добра, истины и красоты. Лешка прочел раньше моего и успел прислать телеграмму. Теперь следует ждать следующего, 12-го номера, — будущая статья намного больше и лучше.

Ну, вот, мамочка, и окончилась моя «начинающаяся» юность. Я нашел типографию, я поэт!.. Теперь впереди большая работа: вперед и выше. Здорово робею, ибо плохо учился. Хуже того: мало знаю жизнь. Теперь все это надо наверстывать лихорадочными темпами, дабы к тридцатилетию своему стать большим и крепким писателем. Пожми мне через сотни верст мою доблестную длань и пожелай счастливо доехать. Лиха была беда — начало.

Ты спрашиваешь о делах. Ида не приехала и не приедет, наверное. Я им немедленно сообщил о тебе, и, конечно, теперь ей нет смысла ехать в мороз. Она очень огорчена и растеряна. Между прочим, она тебе выслала 5-го телеграфом деньги (100 рублей). Я сообщил ей новый твой адрес, чтобы она переслала туда. В ближайшем времени ты их получишь. Недели через полторы я тебе тоже перешлю, а пока сообщи мне, получила ли пересланные тебе телеграфом 100 рублей от меня. Ты спрашиваешь относительно облигаций, — они выигрывают и погашаются по 100–200 рублей раз в

три месяца, больше от них толку не жди. Но, разумеется, я тебе от них же и пересылаю, а как же иначе?

В декабре ожидается довольно солидный гонораришко, — доживем, попользуемся. У меня пока 800 рублей, кроме тех, что отложены, чтобы тебе помогать. Кстати, 39 книг ты прочла, а «Мартин Идена», наверное, нет. А?

А ведь я тебя очень просил — это моя любимейшая книга, потому что — обо мне. Это я — со всеми, и я бы хотел, чтобы ты поняла меня до конца.

Тогда тебя не испугает риск, как испугал три года назад, когда я хотел перекинуться во ВГИК.

Ну, да не будем поминать старое.

Теперь — дела. 15-го мне выдадут облигации, только не знаю, как быть с проверкой номеров, квитанции ведь у меня нет.

Твои стихи мне понравились чрезвычайно, и я ходил два дня под их обаянием — такое не всякий день можно прочесть. И радостно было, и грустно до слез. Радостно — по многим причинам. Ты помнишь, писал Вересаев: «Нет предела низости человека, так же, как нет предела его величию». И вот оно все — перед нашими глазами. Это хорошо, что тебя не согнули, и твое внутреннее существо не сломалось под тяжестью несправедливости, да еще — социальной, хорошо, что твоя философия не дала крена, и ты осталась человеком, как я люблю говорить, — «пролетарским».

А я этого больше всего боялся — ведь это страшнее, чем попасть в застенки капитализма: там ясно, кто ты, и кто враг твой, и гребень баррикады не пропадает в тумане.

Очень хорошие твои стихи, и ты сильный человек, крепкий духом, и я тебя за это уважаю и жму лапы. Иным мужчинам до такого мужества далековато.

Это и есть мирная победа духа над предательством непостоянной судьбы.

А грустно почему? Да потому, что так долго мы друг друга не понимали: ты на меня переносила свое представление об отце, хотела, чтобы я жил твоими интересами, — а были ли они у тебя? Вспомни, на кого ты столько лет работала и какие люди тебя окружали. И стыдно теперь сознавать, что под их влиянием два здоровых, крепких духом и мыслями человека, влюбленных в жизнь, не понимали, что они родственны не только по паспорту, но по душе.

И, пожалуй, самое обидное, что ты в меня до конца не верила, а я, без тени хвастовства могу сказать, что я — талантлив, упрям и негибачем (что у меня от отца, а не от тебя), и уж если сказал, что буду писателем, так буду непременно.

И чем труднее мне жить, тем больше верю, что победа будет за мною, за нами, и писателем буду большим и настоящим.

А трудности? Что о них говорить! Как бы ни были они велики, они никогда не сравнятся с теми трудностями, которые составляют само существо писательской профессии. Так что на этот счет у меня никаких иллюзий нет.

И юность мою ничто не омрачит, — не тревожся.

Чем больше их на моем пути, тем лучше — потому что трудности всегда рождают потребность переживать и мыслить, так что «материальчик» всегда будет для писательства.

И сколько бы сволочей и подлецов на моем пути ни встречалось, — меня они не сломают, — я всегда буду выше их и сильнее, да и сами они — прототипы моих героев: я их наблюдаю, коллекционирую и только.

Сейчас я перешагиваю через самого себя — чувствую большую потребность знать жизнь, учиться писать — так, чтоб моим пером всегда водила правда. Это и трудно, и хорошо.

На выдумке далеко не уедешь, да и сама выдумка нужна ровно настолько, чтобы правда стала искусством. Ты меня понимаешь.

Сейчас много читаю — Ленина, Толстого, Горького, Бальзака, газеты и журналы — хочу быть с веком наравне.

Единственное, чего я сейчас от жизни хочу, — такую профессию, чтобы ездить, видеть, разговаривать с людьми и обязательно писать о них.

Даже за недолгую мою работу в «Вечорке» я увидел много интересного, в особенности, людей, рабочих, — а это люди настоящие и интересные, в массе своей.

У них много задора, оптимизма, прямолинейности, смелости и простоты, они очень дружны и отзывчивы, — это потому, что труд их конкретен, и в минуту самого «делания» дает им глубочайшую уверенность в полезности.

Бывают они и пьяными, и грубыми, но ведь ты же знаешь:

Класс-то жажду заливает квасом?
Класс-то тоже выпить не дурак¹⁶

Вот я и хочу газету — обязательно газету [...] все: и умение жить в ногу со временем, и знание людей, и ежедневная тренировка в писательстве.

Ну, вот, мы с тобой поговорили.

У нас еще много, много тем для разговоров, и мы обязательно договоримся досыта. Только ты не унывай, не растравляй себя заботами о вещах: это добро еще нас переживет.

Жизнь и свобода — вот непреходящие ценности, и об этом надо печься.

Это хорошо, что ты надеешься и веришь в меня — я тебя не забуду и не оставлю.

Работать ты не будешь, хватит, наработалась! Теперь и мне пора приступать по-настоящему, а ты будешь мне помогать.

.....¹⁷

Если выиграют [облигации], поеду в Москву к Ворошилову. Только сперва хочу поменять паспорт — у меня 1 октября срок.

Ида прислала письмо, очень подавлена, переживает, — написала письмо К.Е.

Будем работать, пока тебя не освободят.

Относительно зачета 9,5 месяцев¹⁸ — постараюсь узнать. Это трудно, поскольку официально ничего нет.

Ну, вот пока все.

Обнимаю и целую тебя, дорогая мамочка!

Крепись и надейся. Верь в меня.

Твой Жора 1954»

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

«Здравствуй, дорогая моя родительница!

Настоящим спешу сообщить, что блудное чадо ваше пребывает живу, здорову и в силах своих уверену, как никогда. На днях получил твоё долгожданное письмишко, в коем ты выражаешь радость по поводу моего несколько запоздалого дебюта, и это, разумеется, прибавило изрядную толику в ту чашу восторга, которую я опорожнял распивочно и на вынос все эти последние дни. Впрочем, нагрузиться мне так и не дали, — шефы мои не оставляют меня в блаженном беспорядке и уже сообщили дружественной эпистолой, что дебют мой на ниве критики «оказался бурным, залповым» (имеется в виду скоростная очередность выхода моих статей), однако не мешает и честь знать: пора бы подумать о следующих выступлениях. По всей видимости, я уже успел понравиться и оказался не столь уже завалыщеньким сотрудником, чтобы оставлять меня на растерзание другим журналам. С моей стороны последовали самые искренние уверения в моем совершенном к уважаемой редакции почтении и полной боевой готовности работать, не щадя сил своих, в первую очередь, на пользу тому журналу, который первым протянул мне руку братства и помощи. Итак, договорились о дальнейших планах, и — пошла моя писательская, литераторская, журналистская жизнь... Кажется, вышеупомянутая эпистола впервые напомнила мне, что писательство — прежде прочего — обязанность, труд, долг, а потом уже — деньги, слава, женщины. Это — замечательно. Я ничуть не

разочарован. Я по натуре человек будничный, и работать умею все-таки лучше, нежели праздновать. Даже в экстазе самого бурного вдохновения и фантазии для меня превыше всего — ясность мышления, а туман — дело никудашное, и притом у меня врожденная антипатия к алкоголю. Словом, делу время, потехе — десять минут.

Сейчас я работаю: пишу, читаю, учусь десяткам разнообразных вещей в области приемов и стиля, изучаю языки и потихонечку пытаюсь переводить Тэккерея и Ромэна Роллана. Даже на гитаре играть учусь, вот до чего дошел в искоренении недостатков «проклятого воспитания»!.. И, разумеется, спорт. Ты бы меня теперь с трудом опознала: вешу 75 кг, шея приобрела благородные бычьи очертания, бицепсы вздуваются под рубашкой и ворот расплзается на груди... это, разумеется, еще не предел. Словом, накапливаю энергию для грядущих свершений. Плохо только, что мало знакомых, и все как-то потускнели, так что испытываю голод в людях и хватаюсь за каждую новую кандидатуру. Учусь наблюдать и анализировать природу человеческую и надеюсь, что в этом искусстве азы оставлены позади. Из давних знакомых наиболее часто попадаются Валька Исаев и Маечка¹⁹. Последняя просит заглядывать, она уже — боже мой, мама, — сия гимназисточка с русой косой. Живут неплохо, но тоскует по «чему-то такому». Блажит, по-моему.

«Единственная и неповторимая» почему-то не встречается на стезе моей, а любить невероятно хочется, — «ажник шея вздувается зобом»²⁰, — как писал мой друг Володя Маяковский. И на душе тревожно, ибо знаю, что, ежели встретится более или менее сносное подобие идеала, влюблюсь до обалдения, всерьез и надолго, — а это, при моем росте и весе — трагедия. Иногда же кажется, что годы уходят в напрасном ожидании, — смотрю на себя в зеркало, а оттуда выглядывает физиономия семнадцатилетнего отрока, с полудетской мягкостью очертаний и челюстью, едва претендующей на прагматизм. Вообще, я теперь только начинаю преобразовываться в мужчину и все больше горжусь тем, что моложе телом и духом всяческих, ныне истаскавшихся, тарзанов и стилияг, которые в былые времена давали мне сто очков вперед в атаках супротив прекрасного пола. И это — несмотря на всю совокупность моих огорчений, ошибок и неудач. Как мало пройдено, как много пережито!

Но, больше всего, огорчают меня теперь рецидивы твоих болезней и то, что в эти дни ты находишься у чорта на куличиках, — а я всегда думал, что мой дебют мы отметим добрым единением вокруг одного стола, с единственной бутылкой. Ты часто говорила мне, что я не оправдываю каких-то твоих надежд, а я отвечал с врожденной неделикатностью: я явился в этот прекрасный мир не для того, чтобы оправдывать чьи-то надежды. Все больше думаю, что оба мы неправы: ты — тем, что рассматривала меня сквозь искажающую

призму воспоминаний о длинноногом папочке, я — свойственным юности «самоцельным» тяготением к самостоятельности и «гордому одиночеству». Если бы ты могла прочесть мою статью в 12-м номере о Ведерникове («Крушение интересности»), ты бы поняла, что писал я, в большей степени, о себе. Даже шефы мои догадались, что это — «моя тема», и сказали, что это для них особенно ценно. Кредо всей статьи — в доказательстве: «Он — не урод. Он только гадкий утенок». Мудрость этой сказочки часто забывают и потому принимают сторону матери-гусыни, которая лелеет надежду, что птенчик ее «со временем выровняется и станет поменьше». Я теперь бесконечно далек от того, чтобы сводить счеты самолюбия, я только хочу предостеречь тебя от будущих беспокойств за мою бесшабашно-раскосую натуру. Все перемелется и будет хлеб!

Сейчас у меня на столе — незабвенный «Мартин Иден»²¹, и вот я читаю оттуда: «Однако время японских рестораничек уже кончалось для Мартина. Как раз в тот момент, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без всякого волнения вскрыл конверт «Миллениума», Мартин вынул из него чек на триста долларов...» Нечто похожее произошло и со мною, — но я не прекращал борьбы! И по-прежнему все конверты вскрываю с волнением. И все-таки, какой-то частью души я рад, что победа далась мне в бою, что я не прилепился бесплатным приложением к первому ошеломляющему успеху, а долгие годы исканий и борьбы дали мне возможность заранее познать цену любви и дружбы.

Словом, колесо моей фортуны — повернулось достаточно поздно, когда из карася-идеалиста вылупился трезвый политик и деловой человек. Дальнейшее — решится трудом, усидчивостью и терпением. Я ощущаю в себе огромную силу, которая ищет применения на больших делах, и, если бы нашелся кто-нибудь, кто организовал бы мою будничную жизнь и обеспечил мне восемь часов ежедневно хорошей, доброкачественной рабочей тишины, я бы — ей-ей! — написал бы уже три «Войны» и четыре «Мира». Таково ощущение. Когда-то мне казалось, что весь вопрос упирается в энное количество свободных денег, но теперь понимаю, что не это главное. Главное — свободная жилплощадь, чтобы можно было сидеть над книгой после полуночи, спать в морозы при открытой форточке, жить по-спартански и приводить любых друзей. Это теперь моя основная задача, и я намерен решить ее любыми путями в ближайшие месяцы.

Понемножку растет моя библиотека, появились «Воспоминания» Бисмарка, сочинения утопистов-социалистов, стихи и публицистика Гейне, отдельные тома Спинозы, Смайла, Бэкона, Лессинга, Спенсера, Дидро. Уже некуда ставить, и я все более опасаясь, что страсть к собиранию книг приобретет со временем патологические нюансы. Впрочем, пока я собираю их с единственной целью

детального изучения, и в таком плане это занятие довольно увлекательно. Хозяйка моя ужасается тому, что я покупаю книги, которых «нельзя читать», однако проникается к ним благоговейным уважением. Недавно она прочла «Идена» и никак не может понять, почему он утопился, когда у него столько было денег. «Неужели из-за бабы»? В конце концов, ее удовлетворило, что «что-то случилось с его головой», и теперь она смотрит на меня с опаской.

Сейчас все мое внимание привлечено к идущему съезду: начинаю ощущать себя частицей этого коллектива и думаю на днях заявиться в секцию критиков Ленинградского Дома литераторов. Пусть принимают в свою компанию. Там, правда, заседают солидные киты, среди которых я буду представлять весьма негабаритную разновидность, но говорят, что мой журнал — достаточно уважаемая трибуна, чтобы мериться силами с китами. По крайней мере, многие из них мечтали бы там напечататься.

Вот, как будто, и все мои теперешние интересы. Ты — представляешь собою самое уязвимое звено на фронте моих наступлений, и я постепенно разовью удары в этом направлении. Пока я смогу присылать тебе больше денег, в дальнейшем — отложу свободные деньги для твоего защитника. Утверждают компетенты, что игра теперь стоит свеч. Я пока не знаю, чем кончится твоя кампания с заявлением о помиловании. Сообщи мне, пожалуйста, все последние новости и, если можно, слухи, чтобы я мог координировать твои действия с моими. У меня такое ощущение, что все благоприятно разрешится не позднее этой весны. Самое большее — протянется до лета.

Родственники мне почему-то не пишут. Если сможешь, напиши им от себя, потому что я уже сообщал им о твоих метаморфозах и не получил ответа. Думаю, что все это им уже надоело в высочайшей степени. Ничего, однако, не поделаешь.

Заходит маленький Чарли и регулярно передает тебе самые свежие приветы. Он весьма озабочен твоим положением и наперебой предлагает самые фантастические выходы из положения. Ревекка — тоже возмущена и делает большие глаза. Люди эти, к сожалению, слишком малы, чтобы дорожить их сочувствием больше, чем платонически, но принять к сердцу — не мешает.

Илья и Лешка²² по уши увязли в работе и беспокоят меня письмами изредка. Все остальные друзья разлетелись по белу свету. Винченце²³ теперь в Таллине, с мужем, она немножко поправилась и не так угнетена болезнью. Все это я узнаю от Шурика, который меня навещает временами. Он ко мне почему-то удивительно расположен и все еще лелеет надежду, что мы с его сестрой соединимся когда-нибудь законнейшим браком.

Остальное — не стоит того, чтобы о нем говорить. Ты все беспокоишься о вещах, хотя им ничего не делается (кроме того, что они пребывают в благородном состоянии естественного устаревания), и меня нехорошо удивляет твоя повышенная заботливость о вещах решительно ничтожных, не стоящих теперь ни моего внимания, ни твоего беспокойства. Ты было заикнулась об их частичной ликвидации, и я был обрадован твоим частичным разрывом с грошовыми иллюзиями, а теперь я вижу, что навязчивые идеи все не покидают тебя. Тебе, ты говоришь, это дорого как память? О чем? Об училище, о бабкиной болезни и смерти, о дорогих сослуживцах и годах службы бок о бок с ними? Я бы хотел со всем этим расстаться отныне и вовеки, чтобы ни одна вещь не напоминала мне об оставшемся, слава богу, позади. Ты хочешь в будущем построить жизнь по образу и подобию старой и не понимаешь, что жизнь у нас пошла колесом и вывернута наизнанку, — прошлого нет и не надо. Я отчасти понимаю тебя: у тебя еще нет будущего, есть только настоящее, которое хуже прошлого, и поэтому прошлое рисуется в привлекательных тонах, к нему хочется вернуться. Однако я уверяю тебя, что, когда настанет долгожданная жизнь, ты первая посмеешься над былыми беспокойствами. То же происходит и со мною — многое выглядит смешно и глупо.

Спешу закончить, ибо — работа. Договорился о статье, которую надо сделать не позднее Нового года. Дней остается мало, а халтурить я никогда не приучусь.

Поздравляю тебя с Наступающим и желаю в нем исполнения всех желаний. Здоровья — тоже.

Напиши мне, что ты читаешь, и каково твое мнение о прочитанном. Как подвигается писательский труд?

Целую и крепко жму руку.

Твой Жора.

г. Л-д, 12419-ХII-54

Следом высылаю 200 рублей» (приписка на полях)

СТИХИ МАРИИ ОСКАРОВНЫ ЗЕЙФМАН²⁴

Сыну

Вольный стих не угасает
За решеткою темницы,
Мысли вольные не знают
Ни заставы, ни границы...

Слышу гнев и осужденье,
Знаю тех, кто там судачит,
Может, кто-то с сожаленьем
Над судьбой моей заплачет.

Но в минуту роковую
Лишь к тебе несусь мечтою,
И о том, как я тоскую,
Знаем только мы с тобою.

Я тебя благословила
На широкую дорогу,
Счастье береги, мой милый,
А меня суди не строго.

Разве сердце виновато,
[Что ему] так больно было,
[Что] в смятении когда-то
Невпопад заговорило.

Виновато ль, что на свете
Так уж издавна ведется:
Голова всегда в ответе,
Если сердце ошибется.

*Июнь 1953 г.
В тюрьме, Ленинград*

Мне не забыть

Мне не забыть допросов беспощадных,
Колочий смех и резкий разговор.
Я слушала взволнованно и жадно
И принимала справедливый ваш укор...

Но в тех речах, карающих и гневных,
Когда от горести кружилась голова,
Как звуки струн, далеких и напевных,
Почудились мне теплые слова.

В полночный час, когда бесцеремонно
Меня вы отправляли на покой,
Казались вы таким усталым, сонным,
Что я жалела — вас истерзанной душой.

А позже там, в суровом каземате,
Где долго ночь моя бессонная текла,
Рыдало сердце о своей утрате
Под искрой вашего лучистого тепла.

14.VII.1953 г.

В тюрьме, Ленинград

Первомайское

Сюда несутся звуки вольной песни...
То Первомай послал мне свой привет.
Сказать, что в мире песен нет чудесней
И что страны — прекрасней в мире нет.

Вот ближе, ближе голоса живые,
Нестройный хор, литавров медный звон.
И направляют песни боевые
Могучий шаг бесчисленных колонн.

Пускай в тюрьме я
В камере шагаю.
Пускай решеткой
Забрано окно,
Я вместе с ними

Песню запеваю,
И сердце бьется
С ними заодно.

А майский день так ясен и спокоен,
Весенним солнцем залит небосвод...
«Мы наш, мы новый....» Ведь уже построен,
Тот новый мир, что обещал народ.

Мне не забыть величие минуты,
Как Ленинград вечерний ликовал,
И над Невой торжественно салюты
Союз Советов миру посылал.

Пускай в тюрьме я
В камере шагаю,
Пускай решеткой
Забрано окно,
Я вместе с ними
Песню запеваю,
И сердце верит
С ними заодно,

Что мир увидит коммунизм в расцвете,
Что разорвется вековая тьма,
И будет самый светлый день на свете,
Когда падет последняя тюрьма.

*1.5.1953 г.
В тюрьме, Ленинград*

Седые волосы

Кто сказал, что волосы седые?
Это ровно ничего не значит.
Долго свои грезы молодые
Сердце в глубине стыдливо прячет.

Угли под золою пламенеют,
Солнце на закате светит ярко,
Розы в сентябре еще алеют...
В сорок лет целуют очень жарко.

Если еще любитя — целуйте,
Волосам седым своим не верьте,
А плясать захочется — танцуйте!
Сберегите молодость до смерти.

Несмотря ни на какие годы,
Мы беремся за любое дело,
Обновляем древнюю природу,
В бой за новый мир выходим смело.

Реки изменяют направление,
Город украшается на диво,
Яблоня на севере — в цветенье.
Все свершает воля коллектива.

Эти дни и годы — золотые.
Нам решать великие задачи,
Если даже волосы седые, —
Это ровно ничего не значит.

*1953 г., август
В тюрьме, Ленинград*

Вальсы Шопена

Помните вечер? Вальсы Шопена?
Мрачные стены тверже гранита?
Вы это помнить должны непременно,
Разве такое быть может забыто?

Каждый из нас торопился украдкой
Другу сказать сокровенное слово.
Звонким арпеджио, музыкой сладкой
Слух отвлекали мы стражи суровой.

Пусть мы ходили дорогами разными,
Каждый по-своему мир ощущая,
Пусть отлюбили мы веснами красными
И разделяет нас пропасть большая

Прожитых лет. Но среди ночи тоскливой
Мне еще слышатся вальсы чудесные,
В шумном кругу я сижу сиротливо
И вспоминаю напевы безвестные.

Что же нас сблизило? Эти ли звуки,
Полные тайной надежды на счастье,
Или горячие тонкие руки
В полном значения тихом пожатье,

Или предчувствие близкой свободы?
Или души прямота неуклонная?
Или нависшие грустные своды?
Или судьбы нашей скорбь разделенная?

Вечер. Входим, как прежде, бесшумно
Мы в этот зал. Пианино раскрыто.
Что вы наделали, вальсы Шопена?
Бедное сердце снова разбито.

*Ленинград, Больница Гааза
Август 1954 г.*

*Публикация, вступление и комментарии
Светланы Шнитман-МакМиллин*

- 1 Ида Оскаровна Зейфман — родная младшая сестра Марии Оскаровны Зейфман.
- 2 Как можно предположить из других писем, К.Е., по всей вероятности, — Климент Ефремович Ворошилов, который ещё дважды упоминается в других письмах. Почему Владимов и его семья возлагали надежды на помощь Ворошилова, мне пока выяснить не удалось.
- 3 Николай Фёдорович Погодин (Стукалов, 1900–1962) был главным редактором журнала «Театр» в 1951–1960 гг.
- 4 Точная дата отсутствует, но ясно по фактам биографии Владимова, что это письмо было написано весной 1954 года, в апреле или мае.
- 5 Ирина Волосевич — двоюродная сестра Владимова с отцовской стороны. Далее упоминаются сестра отца Вера и её внук Вовка.
- 6 Беляевский, Илья Львович, университетский друг Владимова, связь с которым длилась всю жизнь. По распределению Беляевский работал три года в Новосибирске, потом вернулся в Ленинград.
- 7 Номер почтового отделения, где Владимов получал почту «до востребования».
- 8 Рюмин, Михаил Дмитриевич (1913–1954), полковник НКВД, потом МВД, заместитель министра государственной безопасности СССР, известный особой жестокостью. Инициатор «дела врачей». Арестован 17 марта 1953 года, расстрелян 22 июля 1954 года.
- 9 Я предполагаю, что этим именем обозначен Илья Беляевский, по словам Владимова и его матери, очень красивый брюнет. Беляевский работал адвокатом, и Владимов очень доверял и полностью полагался на него в юридических вопросах, связанных с меняющейся политической обстановкой. Но в то время и для юристов было много неясного.
- 10 Часть обращения и дата замазаны чем-то белым.
- 11 Лермонтов М.Ю., «Чаша жизни», 1831, начало строфы: «Тогда мы видим, что пуста...». См. ПСС в 10 томах, М., «Воскресение», 1999–2002, т. 1, стр. 320.
- 12 Пенензи — «деньги», от польского *peniadze*.
- 13 Пушкин А.С., «Евгений Онегин», 7 глава, точная строчка: «Ты заплатил безумству дань». См. СС в десяти томах, М., «Художественная литература», 1959–1962, т. 4, стр. 163.
- 14 Это письмо написано, когда Мария Оскаровна была в больнице после несчастного случая в лагере.
- 15 Судя по упоминаемым датам публикаций, это письмо написано во второй половине ноября.
- 16 Владимир Маяковский, «Сергею Есенину», ПСС, М., «Художественная литература». 1955–1961, т. 7, стр. 100.
- 17 Следующая часть письма подклеена — невозможно установить, кем и когда.
- 18 Время, которое М.О. Зейфман провела в тюрьме с момента ареста и до первого суда в октябре 1953 года.
- 19 Валентин Исаев учился с Георгием Владимовым (тогда — Жорой Волосевичем) в Суворовском училище. По окончании был оставлен на работе в училище. Маечка — его жена, с которой Исаев познакомился на одном из балов в училище, куда приглашали девочек из соседней женской гимназии.
- 20 Перефразированная цитата строчки из стихотворения «Вызов» Владимира Маяковского, написанного в 1925 году: «Горы злобы аж ноги гнут/ Даже шея вспухает зобом». Маяковский В.В., ППС, т. 7, стр. 73.
- 21 Джек Лондон, «Мартин Иден» (Jack London, «Martin Eden», 1909), СС в 14 томах, том 7.
- 22 Илья Беляевский и Алексей Новицкий — близкие университетские друзья Владимова. Новицкий был родом из Орла, куда вернулся на работу после университета.
- 23 Возможно, что под псевдонимом Винченце подразумевается Вероника Масевич, первая любовь Владимова и дочка коллеги М.О. Зейфман. Вероника участвовала в посещении Зоценко и последующем скандале.
- 24 Стихи написаны во время пребывания в одиночной камере Большого Дома на Литейном и потом в больнице, куда она попала после несчастного случая в лагерьном бараке.